

Литературоведение

УДК 821.161.1-31

ББК Ш5(2=Р)5-33

Г.М. Ребель

ГЕРОИ ВНЕ ВРЕМЕНИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 1859 ГОДА: «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ» Л.Н. ТОЛСТОГО, «ОБЛОМОВ» И.А. ГОНЧАРОВА, «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» И.С. ТУРГЕНЕВА

В статье сделан сопоставительный структурно-тематический и жанровый анализ произведений Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева и И.А. Гончарова.

В рамках исследования были поставлены следующие задачи: дать жанровые определения «Семейного счастья», «Обломова» и «Дворянского гнезда» на основе структурных и идейно-тематических особенностей произведений; сопоставить романы Тургенева и Гончарова как разные жанровые модификации; обосновать идеологический характер романа «Дворянское гнездо»; проанализировать суть идеологического противостояния героев романа Тургенева.

В результате сделаны следующие выводы.

«Семейное счастье» Толстого, традиционно обозначаемое как роман, квалифицируется нами как повесть: в произведении доминирует единственная точка зрения, принадлежащая героине-рассказчице; предметом изображения являются эпизоды частной жизни, представленные вне социально-исторического контекста эпохи.

«Обломов» Гончарова и «Дворянское гнездо» Тургенева предьявляют многогранную, эпически объемную, масштабную картину действительности в двух принципиально различных вариантах жанровой романной модификации. Несмотря на то, что в обоих романах главные герои оказываются *вне времени*, оба произведения воссоздают предреформенную атмосферу конца 1850-х гг., однако делают это принципиально по-разному. В романе «Обломов» дан мифологически-обобщенный, элегический образ уходящей в прошлое крепостнической России. В «Дворянском гнезде» социально-историческая конкретика выступает в тесной связи с реальными историческими событиями, лирическое начало органически сочетается с полемической остротой проблематики. Сюжет и судьбы героев романа Тургенева обусловлены идеологической полемикой, в которую субъективно или объективно вовлечены не только главные, но и второстепенные герои, что и определяет в конечном счете идеологический характер произведения.

Предложенная жанровая дифференциация произведений трех ведущих писателей эпохи позволяет дать динамический срез литературного процесса второй половины XIX в. в знаковом для этого периода 1859-м г.

Ключевые слова: «Семейное счастье», «Обломов», «Дворянское гнездо», роман, повесть, жанровые модификации романа, идеологический роман, сюжет, система персонажей, структурный анализ.

DOI: 10.35634/2412-9534-2020-30-5-859-869

Начнем с существенного в рамках темы вопроса о жанре. Из трех произведений, о которых пойдет речь, одно, на наш взгляд, не является романом.

«Семейное счастье» Толстого представляет собой первый – конспективный и, с точки зрения автора, неудачный – опыт воплощения «мысли семейной». 3 мая 1859 г., после получения корректуры второй части, Толстой записывает в дневнике: «Получил С[емейное] с[частье]. – Это постыдная мерзость» [15. С. 21]. Письмо к В.П. Боткину от того же 3 мая – вопль отчаяния: «Я теперь похоронен и как писатель и как человек! <...> Ежели же уже невозможно миновать этой чаши, то будьте другом, пересмотрите корректуры и перекрестите, поправьте, что можно. Я не могу» [18. С. 296]. Получив отчаянное письмо, Боткин, которому первая часть не понравилась «напряженным пуританизмом в воззрении», бросился утешать автора и во второй части нашел «большой внутренний драматический интерес», «превосходный психологический этюд», «глубоко схваченные изображения природы» [18. С. 297]. Заметим, что эти оценки оказались слабым утешением и однозначно опровергают принятое жанроопределение.

Нероманный статус «Семейного счастья» очевиден и через двойное сопоставление: с вышедшими в том же 1859 г. романами И.А. Гончарова «Обломов» и И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», с одной стороны, и с собственными толстовскими романами – с другой, где принципы построения

сюжета, способы подачи героев, структура образов персонажей, особенности психологизма, наконец, масштаб изображения неузнаваемо, принципиально другие.

В «Семейном счастье» нет того содержательного объема, того охвата действительности, объективности, многогранности ее отражения, которые создают романное пространство для полноты и разносторонности предьявления героя (героев). Это однолинейная история частной жизни, состоящая из двух рассказанных самой героиней эпизодов: пути к замужеству и искушений в замужестве. Все, кроме героини-рассказчицы, даны в отраженном свете и не являются субъектами собственного слова и судьбы, картина ограничена рамками жизненного опыта и установок рассказчицы. Одномерность повествования дополнительно усугубляется ригоризмом («пуританизмом», по определению Боткина) авторской позиции, что и позволяет определить жанр произведения как повесть, но не роман. Здесь сошлемся на собственное определение различий между повестью и романом, данное на материале творчества Тургенева: «Для повести характерно единство точки зрения – как правило, субъективно окрашенной <...> в романе же мы видим мир не только сквозь объективную авторскую призму, но и глазами разных героев, в разных ракурсах, что и создает дополнительный объем, полноту и достоверность образа мира» [12. С. 81].

При этом и с жанровой, и с тематической точки зрения «Семейное счастье» Толстого характерно и значимо в литературном контексте 1859 г. Обозначив в заголовке статьи положение героев всех трех указанных произведений как ситуацию *вне времени*, мы, с одной стороны, создали платформу для сопоставления, с другой – основу для *противопоставления* произведений как по жанровому (повесть – роман), так и по внутрижанровому (различные романские модификации) принципу.

Формула *вне времени* обусловлена не только перекликающимися, хотя при этом очень разными авторскими художественными стратегиями внутри каждого из произведений, но и общественно-политическим контекстом 1859 г., который едва ли не с документальной точностью зафиксирован в творчестве Тургенева.

В вышедшем через год после «Дворянского гнезда» романе «Накануне» (1860) прямо и неоднократно ставится общественно значимый вопрос «Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся люди?» [21. С. 126]. В начале романа «Отцы и дети» (1862) ожидание субъекта долгожданных перемен, *русского Инсарова*, отнесено к интересующему нас историческому моменту: «Что, Петр, не видать еще? – спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим ...» [21. С. 151]. Современники прекрасно понимали подтекст, отсылающий к «Накануне».

Это был запрос времени – но написанные в 1859 г. произведения Толстого, Гончарова и Тургенева отвечали на этот запрос по-разному.

В «Семейном счастье» отголосков общественной ситуации, политических знаков времени нет вообще. Время этого произведения сугубо личное, соотносимое с естественным и неизбежным течением событий, которому равно подвластно все сущее.

Само понятие времени встречается у Толстого большею частью применительно к героине, т. к. это время ее взросления и личностного становления. «Зачем что-нибудь делать, когда так даром пропадает мое лучшее время?» [16. С. 68] – думает она, осиротев и не видя жизненных перспектив. «Зачем он теряет золотое время, которое, может быть, уже никогда не возвратится? Пускай он скажет: люблю» [16. С. 90], – торопит героиня события, почувствовав возможность перемены судьбы. Патриархальная идиллия начальной поры замужества довольно скоро надоедает молодой женщине, и ощущение неудержимо и бесполезно текущего времени возникает у нее все чаще: «...и я права, когда мне скучно, пусто, когда я хочу жить, двигаться <...> а не стоять на одном месте и чувствовать, как время идет через меня» [16. С. 111].

Внешние перемены, связанные с переездом в Петербург, изменили характер взаимоотношений супругов, но на этом новом этапе жизни время вновь словно замерло, потому что мерилом его по-прежнему выступают исключительно отношения героев друг с другом, которые, обретая новый – холодно-дистанцированный – характер вновь «как будто остановились, застыли и не могли сделаться ни хуже, ни лучше» [16. С. 127]. Когда героиня наконец очнется от светского дурмана, когда ее замужняя жизнь представится ей «в новом свете» и укором ляжет на совесть, она впервые попытается взглянуть на ситуацию глазами мужа, впервые задумается: «...какие же были его радости во всё это время?» [16. С. 133]. Сергей Михайлыч, который изначально сомневался в возможности совпадения своего жизненного ритма уже пожившего и остепенившегося человека с жизненным ритмом юной жены, пережи-

тые ими семейные передраги объясняет естественным ходом событий: «Ты еще далеко не прожила тогда этот прелестный и милый вздор, на который я любовался в тебе; и я оставлял тебя выживать его и чувствовал, что не имел права стеснять тебя, хотя для меня уже давно прошло время» [16. С. 141].

Подведение итогов для героев сопряжено с окончанием жизненного цикла – Маша называет его «роман с мужем» [16. С. 143] – и началом нового этапа, символически обозначенного Сергеем Михайлычем: «Однако пора чай пить! – сказал он, и мы вместе с ним пошли в гостиную» [16. С. 143].

Толстой создал камерный, замкнутый в самом себе мир, живущий по инерции, не ведающий социально-политических проблем, тем более потрясений. Патриархальные пристрастия Сергея Михайлыча соотнесены с его возрастом и приверженностью традиции, порывы Маши – с молодостью и неизрасходованной жизненной *энергией заблуждения*. Можно согласиться с тем, что Толстой в «Семейном счастье» «предугадал – в общих контурах – собственный семейный “сюжет”» [8. С. 156], однако эпического потенциала этого сюжета с его трагическим наполнением и финалом предугадать пока не мог. Решение такой художественной задачи впору только роману, написанному на основе не ригористических умозрительных проектов, а реального жизненного опыта. Сергей Михайлыч – черновой набросок Левина, но до масштаба и личностной сложности Левина, до мировоззренческой нагрузки образа Левина герою «Семейного счастья» очень далеко. Это пока именно набросок, эскиз, этюд, а произведение в целом – повесть, а не роман.

Романный масштаб изображенного Гончаровым в «Обломове» социального явления был мгновенно зафиксирован в названии статьи Добролюбова: «Что такое обломовщина?»

Сам Илья Ильич Обломов, как и толстовский герой, хотел бы воссоздать для себя патриархальную идиллию, но его то и дело *жизнь трогает*, проникая в обломовское убежище сначала на Гороховой улице, затем на Выборгской стороне требованием решения насущных проблем, неразрывно сопряженных с острыми социальными вопросами, – при безусловной приверженности самого героя природным жизненным ритмам и вольному философствованию.

Картина, описанная в «Обломове», построена на принципиально иных основаниях, нежели воссозданная в «Семейном счастье», – она имеет эпический объем и эпическую глубину. В романе множество героев, каждый из которых существует не только для Обломова, но и сам по себе, обладает правом голоса, собственной субъектностью. Герои образуют сложную персонажную систему, в которой принцип двойничества, традиционно соотносимый преимущественно с творчеством Ф.М. Достоевского, реализован артистически элегантно, без схематизации, отсечений и натяжек [13. С. 158–187]. Здесь есть не только мифологическое и природное, но и историческое время: настоящее, выросшее из прошлого и на глазах читателя становящееся прошлым. Здесь поставлен самый острый из всех вопросов 1859 года: что такое обломовщина и как ее преодолеть? Здесь есть и злоба дня, отголоски общественной полемики – в частности в эпизоде с журналистом Пенкиным и обличительной речью Обломова по его адресу.

Илья Ильич субъективно принадлежит Обломовке, предан ей всеми фибрами души. Обломовка, в которой «правильно и невозмутимо совершается ... годовой круг» [4. С. 100], в которой «все сулит <...> покойную, долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную, сну подобную смерть» [4. С. 100], – его идеал и его конечная пристань, заново обретенная, после того как жизнь в лице Ольги выбила его из привычной колеи. Жизненный круг замкнулся: в доме Агафьи Матвеевны «Илья Ильич жил как будто в золотой рамке жизни, в которой, точно в диораме, только менялись обычные фазисы дня и ночи и времен года» [4. С. 472]; «и здесь, как в Обломовке, ему удавалось дешево отделяться от жизни, выторговать у ней и застраховать себе невозмутимый покой» [4. С. 473]. Но если сам герой из этой реконструированной по обломовскому образцу, хотя и упрощенной, редуцированной, идиллии уходит в царство вечного покоя, то история его жизни ставит читателя не только перед философскими, но и перед острейшими социальными вопросами из актуальной повестки дня 1859 г.

На первый взгляд, Федор Иванович Лаврецкий по возвращении на родину из-за границы оказывается в подобии Обломовки – далеко от шума времени дворянском гнезде. На этом «дне реки» было «незачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом» [22. С. 188]. Европа, из которой он только что прибыл, противопоставлена целебной российской глуши как суетливый, суетный и чуждый герою мир: «В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний

снег, и – странное дело! – никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины» [20. С. 188]. В дополнение картины, Лаврецкому в Васильевском прислуживает старик Антон – аналог обломовского Захара, «слуга старого времени», который вел «свои неторопливые рассказы <...> о тех баснословных временах» [20. С. 189], в которые протекала его молодость и которые отчасти застал в своем детстве Лаврецкий.

Но внешнее сходство в данном случае тем сильнее подчеркивает сущностное различие, которое со всей очевидностью обнаруживается при сопоставлении предыстории Обломова (глава «Сон Обломова») и предыстории Лаврецкого.

Если первая представляет собой мифологическое воплощение национальной идиллии – «благословенный уголок», «чудный край» [4. С. 98], то вторая насыщена драматизмом судеб и событий в контексте реального исторического времени с реальными историческими датами, историческими катклизмами и знаковыми историческими именами.

Обломовцы и в географическом, и еще более того в умозрительном плане «далеко жили от других людей» [4. С. 103]: за пределами отечества им мерещились «неизвестные страны, населенные чудовищами, людьми о двух головах, великанами; там следовал мрак – и наконец все оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю» [4. С. 103-104].

В патриархальные Лаврики вместе с отцом Федора Ивановича, воспитанным в Петербурге французом-эмигрантом, врываются идеи Руссо, Вольтера, Дидро и других просветителей, не без их влияния и появился на свет Федор Лаврецкий в качестве законного помещичьего сына, рожденного горничной Маланьей, – так был пущен в ход «“изувер” Дидерот» [20. С. 154], на родину которого и отбыл доказавший свое вольнолюбие, но не желавший пожинать его плоды Иван Лаврецкий. Судьбу подрастающего Федора опосредованно, через курсирующего между Парижем и Лавриками отца, определяли войны России с Наполеоном, победа 1812 г., катастрофа 1825 г. Собственный жизненный маршрут увел Федора Ивановича из Лавриков в Петербург, оттуда – по прихоти красавицы жены – в Париж, затем в Италию и опять на родину, но не в Лаврики, где для него была жива и тяжела память о хозяйничавшей там некогда Варваре Павловне, а в захудалое Васильевское.

Для Обломова безделье и неподвижность были «нормальным состоянием» [4. С. 6], возвращенным «тишиной и невозмутимым спокойствием» [4. С. 103], которые царили в родовом гнезде. Лаврецкий в глуши родного поместья замер, затих, затаился, чтобы залечить боль. Но окружающая его здесь тишина таит под собой не обломовскую идиллию, а реалии крепостнического быта и нравов, когда, по словам старика Антона, «что барин восхотел, то и творил» [20. С. 190].

И в самом Лаврецком «родовое» моментами давало себя знать отнюдь не поэтической дремой, а гневом и яростью, т.е. представало в том подлинном социально-историческом обличье, которое заретушировано обломовскими мечтаниями. Узнавший об измене жены, обезумевший от отчаяния, Лаврецкий мысленно проигрывал расправу с тайными любовниками, собираясь бросить им в лицо: «“Вы со мной напрасно пошутили; прадед мой мужиков за ребра вешал, а дед мой сам был мужик”, – да убить их обоих» [20. С. 176].

Дворянское гнездо тургеневского романа – совсем не Обломовка.

И роман этот – по структуре своей, по логике сюжета, по принципу подачи героев и их взаимодействию друг с другом (т.е. по организации системы персонажей), наконец, по итоговым своим смыслам – принципиально иной, нежели роман Гончарова. Именно в «Дворянском гнезде» Тургеневым доводится до жанровой определенности и художественного совершенства та романная форма, которая «ощупью», по ходу написания начала складываться в «Рудине».

Как известно, Гончаров крайне ревниво и подозрительно относился к романному творчеству Тургенева и даже прямо убеждал его, ссылаясь на «мнение одного господина», некоего безымянного учителя, что Тургенев создает не целостную объемную картину, а – «картинки, силуэты, мелькающие очерки», т.е. воспроизводит частности, а «не сущность, не связь и не целостность взятого круга жизни» [см.: 19. С. 602]. Иными словами, с точки зрения Гончарова, удел Тургенева – малые формы. Тургенев на эти упреки отвечал беззлобно и самокритично: «Кому нужен роман в эпическом значении этого слова, тому я не нужен; но я столько же думаю о создании романа, как о хождении на голове: что бы я ни писал, у меня выйдет ряд эскизов» [19. С. 290]. Лукавил ли он в данном случае? Нет, судя по тому, что постоянно умалывал масштаб и значение своих созданий. Однако ни гончаровские претензии, ни авторская самокритика в данном случае абсолютно не соответствуют предмету разговора.

«Дворянское гнездо», вызвавшее «единодушное, восторженное участие всей читающей русской публики» [6. С. 180] – вещь совершенная по исполнению и удивительная по сочетанию лиризма, музыкальности (не только как предмета, но и как способа изображения), акварельной филигранности портретных и психологических характеристик и – точности, глубины, объемности воспроизведения «злобы дня», при уникальной корректности и объективности ее подачи. По поводу *единодушного* восторга, в котором «сошлись люди противоположных партий», П.В. Анненков очень проницательно заметил, что «не каждая из рукоплещущих сторон одинаково понимает внутреннее значение произведения и не каждая в приговоре своем подразумевает именно то, что другая» [2. С. 194]. Иными словами, очарованные красотой создания, читатели недооценивали упакованный в изысканную художественную форму общественно-политический смысл романа, его «связанную тончайшими нитями с нашею современностию» [2. С. 197] идеологическую проблематику.

В отличие от Толстого, написавшего моралистическую повесть частной жизни, от Гончарова, создавшего мифологически-обобщенный, эгегический образ «старой» России, Тургенев написал остро современный *идеологический* роман, выбрав в качестве главных героев носителей *чуждого* ему сознания, выразителей принципиально иной системы ценностей – причем сделал это так, что даже страстный полемист Добролюбов в данном случае не стал ввязываться в полемику, но отметил присутствующий Тургеневу «верный такт действительности», «чутье настоящей минуты» [6. С. 179, 180] – качества, которые неизменно делали тургеневские романы не только художественными, но и общественными событиями.

Время действия в «Дворянском гнезде» «отодвинуто назад, и даже на довольно значительное расстояние (хронология событий, изображенных в нем, точно определена как весна и лето 1842 года; предыстория – женитьба Лаврецкого – относится к началу 30-х годов, а эпилог отнесен ко времени через восемь лет после основного действия, т. е. к 1850 г, и все это вполне соответствует реалиям романа)», – однако, несмотря на это, проблематика романа «вполне современна годам, в которые он был написан» [1. С. 368].

Герой Тургенева, как и герой Гончарова, может на время укрыться в тихой пристани, но и там, вольно и невольно, он оказывается перед лицом идеологических вызовов, которые определяют суть напряженной предреформенной исторической ситуации. Вряд ли можно согласиться с тем, что идеологические споры в романах Тургенева «не имеют прямого сюжетного значения, т.е. не сказываются прямо на судьбах главных героев» [14. С. 36]. Идеологическое столкновение – сюжетный импульс и сюжетный нерв тургеневских романов; даже в самом «лирическом» из них – «Дворянском гнезде» – идеологическое противостояние предопределяет и ход событий, и судьбы героев. Существенно и то, что в идеологических дебатах прямо или опосредованно участвуют и главные, и второстепенные, и даже эпизодические персонажи.

В «Дворянском гнезде» есть два западника: отец Лаврецкого и несостоявшийся Лизин жених Паншин. Первый, как уже сказано, нахватался от гувернера идей Просвещения, по поводу чего повествовать иронически замечает: «Бывший наставник Ивана Петровича, отставной аббат и энциклопедист, удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века, и он так и ходил наполненный ею; она пребывала в нем, не смешавшись с его кровью, не проникнув в его душу, не сказавшись крепким убеждением... Да и возможно ли было требовать убеждений от молодого малого пятьдесят лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до них?» [20. С. 154] Все, на что хватило Ивана Петровича Лаврецкого, – это женитьба *из принципа* на горничной, после чего он оставил молодую жену на попечение родственников и укатил в Петербург, затем в Париж. В 1812 г. его охватил временный патриотический порыв. После 1815-го он вернулся в Россию англоманом, своими новациями сделал жизнь крестьян еще тяжелее и совершенно оградил себя от каких бы то ни было контактов с ними: «Патриот очень уж презирал своих сограждан» [20. С. 162]. 1825 г. окончательно обнаружил его полнейшую личностную несостоятельность и превратил его в «совершенную тряпку» [20. С. 165].

Замечание по поводу невозможности «требовать убеждений от молодого малого пятьдесят лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до них» – метит в еще двух романских идеологов.

Первый из них – это неисправимый идеалист Михалевич, своеобразная пародийная версия Рудина, идейное и психологическое олицетворение «философических» 30-х гг. Его бурный энтузиазм и пламенные речи («У нас! теперь! в России! когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед богом, перед народом, перед самим собою! Мы спим, а время уходит; мы спим...») [20. С. 201]), не получают никакого практического воплощения: «удачей в предприятиях

своих он похвастаться не мог» [20. С. 198]. Сравнивавший себя с «птицей небесной, с лилией долины» [20. С. 202], провозглашавший спасительное для национального возрождения триединство «религии, прогресса и человечности» [20. С. 203], упрекавший Лаврецкого в *байбачестве*, «щиник, идеалист, поэт» [20. С. 202] Михалевич в конце концов «попал, наконец, на настоящее свое дело: он получил место старшего надзирателя в казенном заведении» и был «очень доволен своей судьбой» [20. С. 277]. Сочувственная, с примесью горечи ирония звучит в авторском прощальном слове об университетском приятеле Лаврецкого.

Второй – изначально, с момента появления в романе дискредитируемый западник Паншин: дилетант во всем, включая жениховство и политические взгляды. В изложении Паншина западническая концепция имеет доктринальный, императивный, механистичный характер: «...все народы в сущности одинаковы; вводите только хорошие учреждения – и дело с концом» [20. С. 225-226]. В речах этого «государственника», убежденного в необходимости «подогнать» Россию до Европы, звучит «тайное озлобленье», очевидно направленное «против нескольких известных ему людей» [20. С. 225-226]. И эта психологическая инструментовка в сочетании с доносящимся из сада «в промежутках красноречивой речи» [20. С. 226] пением соловья, эмоционально и эстетически умаляет, опровергает оратора, готовя почву, создавая атмосферу для ответного слова Лаврецкого.

Лаврецкий в той или иной степени оказывается оппонентом всех названных выше идеологов.

В отце он явственно видит «разладицу между словами и делами <...> широкими либеральными теориями и черствым, мелким деспотизмом» [20. С. 165].

В Михалевиче ценит доброту и простодушие; многие из слов университетского приятеля «неотразимо вошли ему в душу», но причина этого не идеологическая, а психологическая: «Будь только человек добр, – его никто отразить не может» [20. С. 203].

Главным же оппонентом Лаврецкого, несомненно, выступает Паншин, в котором идеологическая безапелляционность сочетается с очевидной недобротой, фальшью, дилетантизмом; к тому же Лаврецкий не может не ощущать в нем потенциального соперника (как и Паншин в нем).

Это противостояние, в ходе которого Лаврецкий, отстаивающий молодость России, ее право на самостоятельный выбор пути, гораздо более убедителен, чем западник Паншин, – чрезвычайно важный и показательный для творчества Тургенева момент, получивший отдельные авторские разъяснения в статье «По поводу “Отцов и детей”»: «Я – коренной, неисправимый западник, и несколько этого не скрывал и не скрываю; однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина (в “Дворянском гнезде”) все комические и пошлые стороны западничества; я заставил славянофила Лаврецкого “разбить его на всех пунктах”. Почему я это сделал – я, считающий славянофильское учение ложным и бесплодным? Потому, что в данном случае – таким именно образом, по моим понятиям, сложилась жизнь, а я прежде всего хотел быть искренним и правдивым» [21. С. 321–322]. Как уже сказано выше, Тургенев был наделен исключительной художественной чуткостью, позволявшей ему улавливать глубинные токи времени, различать и предъявлять еще только нарождающиеся явления и при этом – беспристрастно изображать *чужое* сознание, *чуждую* идеологическую позицию. Именно он стал создателем первого в русской литературе «почвенника», вложив в уста Лаврецкого мысль о необходимости «признания народной правды и смирения перед нею» [20. С. 226], которая будет подхвачена Аполлоном Григорьевым [5. С. 275], а затем ляжет в основу идеологической программы Достоевского, его прозвучавшего на Пушкинском празднике призыва к русскому скитальцу смириться перед «народной правдой» [7. С. 139].

Не совпадающая с авторской идеологическая позиция Лаврецкого соответствует правде характера и судьбы героя, вырастает из ситуации, в которую герой поставлен, она не умогнательна и демонстративна, как эскапады Паншина, а выстрадана и высказана в очень важную, переломную минуту жизни.

Лаврецкий «спокойно разбил Паншина на всех пунктах» [20. С. 226]; он, в отличие от своего противника, ни на минуту не терял спокойствия и достоинства, потому что не полемикой с Паншиным были заняты его мысли и чувства: «...он бы не стал возражать одному Паншину; он говорил только для Лизы» [20. С. 228]. Лаврецкий чувствовал, понимал, что его готовность «пахать землю <...> и стараться как можно лучше ее пахать» [20. С. 226] созвучна душевному складу и настроению Лизы. В свою очередь, Лиза «не вымолвила ни одного слова в течение спора <...> но внимательно следила за ним и вся была на стороне Лаврецкого» [20. С. 228]. Во все время полемики и после нее «друг другу они ничего не сказали, даже глаза их редко встречались; но оба они поняли, что тесно сошлись в этот вечер, поняли, что и любят и не любят одно и то же» [20. С. 228].

Однако тут же обозначен гораздо более существенный в рамках сюжета и судеб героев идеологический диссонанс: «В одном только они расходились; но Лиза втайне надеялась привести его к богу» [20. С. 228].

На первый взгляд, любовная коллизия романа не имеет отношения к идеологическим дебатам, однако это только на первый взгляд: и Варвара Павловна, и Лиза Калитина существуют не только в сфере частной жизни, они олицетворяют собой контрастные этические системы, а Лиза – еще и мировоззренческую, т. е. идеологическую в том широком смысле слова, в котором это понятие употребляется в данном случае.

Варвара Павловна для Лаврецкого ассоциируется с западным миром, со свободными парижскими нравами, следствием которых стало крушение всех его надежд, связанных с семейной жизнью. «Воскрешение» Варвары Павловны, которое происходит сразу после объяснения с Лизой, обрывает только что родившуюся мелодию любви и сжимает личное время Лаврецкого в клубок боли. Разговаривая с женой, он «по временам стискивал зубы», а в ответ на ее лукавые слова – «Я знаю, я еще ничем не заслужила своего прощения; могу ли я надеяться по крайней мере, что со временем...» – отвечает спокойно, но беспощадно: «...я давно вас простил; но между нами всегда была бездна» [20. С. 242].

Для Варвары Павловны *время*, которое она поминает, – предмет спекуляции, игры, она умудряется *одновременно* каяться и плести новую интрижку. Простодушная Марья Дмитриевна, пытаясь выступить посредником-примирителем, убеждает Лаврецкого: «...Раскаяние у ней такое... Я, ей-богу, и не видывала такого раскаяния!» [20. С. 266] Но Лаврецкий, дорого заплативший за свое прозрение, иронически парирует: «– А что, Марья Дмитриевна <...> говорят, Варвара Павловна у вас пела; во время своего раскаяния она пела – или как?..» [20. С. 267].

Между Лаврецким и Варварой Павловной действительно бездна, они живут в разных временных и этических измерениях.

Но и между ним и Лизой тоже бездна.

Когда Лиза впервые заговаривает с Лаврецким о его семейной жизни, он обрывает ее: «Наши убеждения на этот счет слишком различны, Лизавета Михайловна <...> мы не пойдем друг друга» [20. С. 196]. Позже, когда ему захочется понимания и сближения, он «начал уверять Лизу, что <...> глубоко уважает всякие убеждения» и даже «пустился толковать о религии, о ее значении в истории человечества, о значении христианства». Однако теперь Лиза прервала разговор поразившим его замечанием: «Христианином нужно быть <...> – не для того, чтобы познавать небесное... там... земное, а для того, что каждый человек должен умереть» [20. С. 206].

И это опять – *несовпадение во времени*, в том, чем оно измеряется и чем наполнено, несовпадение этических, мировоззренческих координат.

Им дано пережить лишь одно мгновение близости, совпадения жизненных ритмов – когда после дебатов Лаврецкого с Паншиным они «сидели возле Марфы Тимофеевны и, казалось, следили за ее игрой; да они и действительно за ней следили, – а между тем у каждого из них сердце росло в груди, и ничего для них не пропадало: для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные и сном, и негой лета, и теплом» [20. С. 228].

Однако то единственное, в чем они «расходились», оказывается сильнее того, что их сближало: «...что-то было в Лизе, куда он проникнуть не мог» [20. С. 224].

У бездны, разделяющей Лаврецкого и Лизу, есть имя – и это не Варвара Павловна, это – Агафья.

Уже в предыстории героев заложен непреодолимый контраст и неизбежный разрыв. Предыстория Лаврецкого – это родовые корни, происхождение, воспитание, разнородные влияния, включая фоновое воздействие исторических событий, это личная жизнь и драматичная судьба до возвращения в О. и встречи с Лизой. Но, так или иначе, это судьба самого Лаврецкого. В рассказе о прошлом Лизы главная роль отведена Агафье, большая часть Лизиной предыстории – рассказ о няне, которая всего три года ходила за Лизой, но – «посеянные семена пустили *слишком* глубокие корни» [выделено нами – Г.Р.] [20. С. 236].

Примечательная деталь: Марфа Тимофеевна, человек редкой искренности и доброты – верующий человек! – переселившись в дом Калитиных, с Агафьей «не ужилась»: «строгая важность бывшей “паневницы” не нравилась нетерпеливой и самовольной старушке» [20. С. 236]. После исчезновения Агафьи Марфа Тимофеевна «старалась умерить» Лизино религиозное рвение «и не позволяла ей класть лишние земные поклоны: не дворянская, мол, это замашка» [20. С. 236]. Здесь очень важное слово – *умерить*.

Лизино решение уйти в монастырь – «запереться навек» [20. С. 275] – вызывает у Марфы Тимофеевны ужас: «Это все в тебе Агашины следы; это она тебя с толку сбילה», – в отчаянии восклицает старушка. – «Да ведь она начала с того, что пожила, и в свое удовольствие пожила; поживи и ты» [20. С. 276].

Но остановить, отговорить, умерить Лизу невозможно – меры «тургеневская девушка» не знает.

«Тишайшая и христианнейшая» – так определяет Лизу Борис Зайцев. Тихость Лизы мелодически пронизывает роман, кротость заявлена в финальных строках ее предыстории-характеристики, но за этой кротостью стоят *непреклонность* и *чрезмерность*: «Вся проникнутая чувством долга, боязнь оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности; она любила одного бога восторженно, робко и нежно» [20. С. 236].

Психологическая и этическая подоплека этой *тихости* описана уже в романе «Рудин», где Лежнев говорит о Наталье Ласунской: «Знаете ли, что именно такие девочки топятя, принимают яду и так далее? Вы не глядите, что она такая тихая: страсти в ней сильные и характер тоже ой-ой!» [20. С. 68].

В размышлениях А. Тесли о Владими́ре Соловьёве есть актуальное в рамках нашей темы замечание: «...для него [Соловьёва. – Г.Р.] этика предстает не как этика долга, а как этика самоотречения – т. е. в логике Христовой жертвы: исполнение лишь должного, сохранение своего интереса хотя и не может быть поставлено в вину, но не есть то, чего требует христианство – любви по отношению к другим, самопожертвования» [15. С. 276].

Этикой долга руководствуется Татьяна Ларина.

Этикой сверхдолжного – «Христовой жертвы» – Лиза Калитина.

Это дает основание говорить о *радикализме* и в данном конкретном случае, и в случае «тургеневской девушки» как типа в целом.

Еще Анненков в свое время обратил внимание на то, что до сих пор игнорируется многочисленными толкователями романа: «Кто из поклонников Лизаветы Михайловны заметил, что в нежную, грациозную и обаятельную форму ее облеклась такая строгая идея, какая часто бывает не под силу и более развитым и более крепким мышцам? Лизавета Михайловна способна тронуть и вызвать слезу у самого хладнокровного читателя, это правда, но одною слезой и сожалением она не может довольствоваться: она имеет право на нечто большее, нежели слеза и сожаление» [2. С. 199].

Именно Лиза Калитина – самое наглядное свидетельство пропасти, отделяющей «тургеневскую девушку» от Татьяны Лариной, из которой ее, по инерции и по недоразумению, упорно выводят.

Татьяну «слезами заклинаний молила мать» [11. С. 160] – и она смиренно приняла свою судьбу, подчинилась установленным порядкам, вышла замуж.

Лизу тоже умоляют: Марфа Тимофеевна на коленях молит ее не губить свою жизнь, – «Лиза утешала ее, отирала ее слезы, сама плакала, но осталась непреклонной» [20. С. 276].

Через полгода – уступка Марфе Тимофеевне – Лиза приняла схиму. Для нее были оборваны все связи и время остановилось.

Лизу невозможно назвать идеологом, она не идеолог, но – олицетворение той идеи, которая и консерваторами, и славянофилами (либералами в большинстве своем, между прочим) к концу 1850-х гг. осознается как национальное ядро, критерий национальной идентичности: «...само православие толковалось как “русская вера”, “вера русского народа” <...> русский народ сущностно определялся через православие» [15. С. 140].

Показателен в этом плане авторский комментарий реакции Лизы на спор Лаврецкого с Паншиным: «Лизе и в голову не приходило, что она патриотка; но ей было по душе с русскими людьми; русский склад ума ее радовал; она, не чинясь, по целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он приезжал в город, и беседовала с ним, как с ровней, без всякого барского снисхождения» [20. С. 227]. Лизина русскость неразрывна с православием, тождественна ему; Лизин патриотизм так же бескомпромиссен, беспасосен и несокрушимо тверд, как ее православие, следуя которому она заживо похоронила себя в монастыре, навсегда лишившись сама и лишив Лаврецкого надежды на счастье.

От внимательного читателя не может укрыться то обстоятельство, что добровольное заточение дается Лизе невероятным напряжением всех сил. Даже по прошествии более чем восьми лет монастырской жизни, она делает над собой огромное усилие, чтобы оставаться в добровольно наложенной на себя узде и не выдать своих чувств приехавшему повидать ее Лаврецкому: «Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смирненной походкой монахини – и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще

ниже наклонила она свое исхудалое лицо – и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу» [20. С. 283].

Лиза написана Тургеневым с предельной деликатностью, любовью, нежностью, но, в отличие от Лаврецкого, который, по определению Добролюбова, «робко склонился перед неизбежностью ее понятий» [6. С. 179], автор не склоняется перед ними, с сожалением описывая последнюю встречу «людей еще живых, но уже сошедших с земного поприща» [20. С. 283]. Заметим, что и в случае Лаврецкого «склонился» не означает принял, признал единственно верной Лизину правду, а означает – смирился с невозможностью ее оспорить.

Когда-то, еще до разрыва с Варварой Павловной, в Париже, Лаврецкий говорил себе: «Я не тороплю времени». Из-за женитьбы, по настоянию Варвары Павловны оставив университет, он старался наверстать упущенное («... читал газеты, слушал лекции в Sorbonne и College de France, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях») и собирался «непрерывно вернуться в Россию и приняться за дело» [20. С. 174].

Дело это он осуществил и в этом смысле «имел право быть довольным: он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян» [20. С. 282].

Однако *время* – пульсирующий общественный ритм его, живую связь с ним, энергию движения – он все-таки потерял.

Вряд ли есть основание видеть в конце романа пробуждение в Лаврецком донкихотского начала [3. С. 171]. «Догорай, бесполезная жизнь!» [20. С. 282] – вот финальное самоощущение Лаврецкого, которое ставит вопрос и о смысле Лизиного самопожертвования, и о трагической судьбе их обоих: «Иногда кажется даже, – заметил Анненков, – будто роман написан с целью подтвердить старое замечание, что великие жертвы, приносимые отдельными лицами ежедневно и по своему произволу, точно так же свидетельствуют о болезни общества, как и великие преступления» [2. С. 215].

В самом романе выбор Лизы и Лаврецкого не оспаривается, рассказ о них овеян поэзией и исполнен лиризма, однако объективно этому выбору противопоставлена бьющая ключом жизнь молодых хозяев дома Калитиных. И это не в меньшей мере, чем порыв Елены Стаховой вслед за Инсаровым, свидетельствует о том, что описанное Тургеневым дворянское гнездо, как и Обломовка Гончарова, обречено уйти в прошлое, что тот ритм и образ жизни, который составлял идеал героя «Семейного счастья», не отвечает духу времени. Показательно, что В.И. Ключевский воспринял «Обломова» и «Дворянское гнездо» как «две части одной книги об умирающих <...> в одной отпевался известный житейский порядок, в другой – общественный тип» [8. С. 411]. Уточним, что этот «общественный тип» – Лиза Калитина...

При этом роман Тургенева не только осветил переломную социально-историческую ситуацию ярким поэтическим светом, но и знаменовал собой новый этап в развитии жанра, задал новые романтические стандарты, оказавшие огромное влияние на творчество его великих современников – Толстого и Достоевского. Достаточно указать на колоссальную разницу между «Семейным счастьем» и «Войной и миром», между которыми не только хронологически, но и эстетически располагается «Дворянское гнездо», – однако это уже другая тема.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев М.П. Примечания // Тургенев И.С. Полное собр. соч. и писем в 30 т. Сочинения в 12 т. Т. 6. М.: Наука, 1981. С. 365–369.
2. Анненков П.В. Воспоминания и критические очерки: 1849–1869. Отдел второй. СПб.: Типография М. Стасюлевича, 1879. 404 с.
3. Беляева И.А. Дон Кихот – Михалевич – Лаврецкий: к вопросу о романном герое Тургенева // Тургеневские чтения: Сборник статей. М.: Русский путь. 2006. С. 166–175.
4. Гончаров И.А. Полное собр. соч. и писем в 20 т. Т. 4. СПб: Наука, 1998. 492 с.
5. Григорьев А.А. Искусство и нравственность. М. Современник, 1986. 351 с.
6. Добролюбов Н.А. Избранные статьи. М.: Сов. Россия., 1978. 388 с.
7. Достоевский Ф.М. Полное собр. соч. в 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. 518 с.
8. Зверев А.М., Туниманов В.А. Лев Толстой. М.: Молодая гвардия. 2007. 785 с.
9. Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М.: Правда, 1990. 624 с.
10. Мендельсон Н.М. «Семейное счастье». История писания и печатания // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 5: Произведения 1856–1859 гг. М., 1935. С. 304–314.

11. Пушкин А.С. Собрание соч. в 10 т. Т. 4. М.: Худ. лит-ра, 1975. С. 7–180.
12. Ребель Г.М. Герои и жанровые формы романов Тургенева и Достоевского (Типологические явления русской литературы XIX века). Пермь: ПГПУ, 2007. 398 с.
13. Ребель Г.М. Обломов и другие // Вопросы литературы. 2012. № 6. С. 158–187.
14. Тамарченко Н.Д. Структура сюжета в романах Тургенева // Тургеневские чтения: Сборник статей. М.: Русский путь. 2004. С. 30–38.
15. Тесля А.А. «Истинно русские люди»: История русского национализма. М.: Группа Компаний «Рипол Классик» / «Панглосс», 2019. 319 с.
16. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Том 5: Произведения 1856–1859 гг. М.: ГИХЛ, 1935. 375 с.
17. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 48. Дневники и Записные книжки. 1858–1880. М., 1952. 539 с.
18. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 60. Письма 1856–1862. М., 1962. 558 с.
19. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем в 28 т. Письма в 13 т. Т. 3: 1856–1859. М.–Л.: Изд-во Академии наук, 1961. 731 с.
20. Тургенев И.С. Собр. соч. в 12 т. Т. 2. М.: Худ. лит-ра. 1976. 333 с.
21. Тургенев И.С. Собр. соч. в 12 т. Т. 3. М.: Худ. лит-ра. 1976. 389 с.
22. Тургенев И.С. Собр. соч. в 12 т. Т. 11. М.: Худ. лит-ра, 1979. 654 с.

Поступила в редакцию 22.06.2020

Ребель Галина Михайловна, доктор филологических наук, профессор кафедры теории, истории литературы и методики преподавания литературы, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 614990, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, 24
E-mail: raniilag@yandex.ru

G.M. Rebel

OUT OF TIME CHARACTERS IN LITERARY WORKS OF 1859: “FAMILY HAPPINESS” BY LEV TOLSTOY, “OBLMOV” BY IVAN GONCHAROV, “A HOUSE OF GENTLEFOLK” BY IVAN TURGENEV

DOI: 10.35634/2412-9534-2020-30-5-859-869

The article is a comparative structural, thematic and genre analysis of the works by Lev Tolstoy, Ivan Turgenev and Ivan Goncharov.

The study had the following objectives: to give the genre definitions of “Family Happiness”, “Oblmov” and “A House of Gentlefolk” on the basis of structural, ideological and thematic features of the works; to compare the novels of Turgenev and Goncharov as different genre modifications; to justify the ideological character of the novel “A House of Gentlefolk”; to analyze the ideological controversy of the characters of Turgenev’s novel.

As a result, the following conclusions were made.

Tolstoy’s “Family Happiness”, which is traditionally identified as a novel, in this case should be qualified as a novella: it has the predominant point of view which belongs to the narrator; the subject of the description are the episodes of private life presented outside of the socio-historical context of the era.

Goncharov’s “Oblmov” and Turgenev’s “A House of Gentlefolk” present a multi-faceted, epically voluminous, large-scale picture of reality in two fundamentally different versions of the genre novel modifications. Despite the fact that in both novels the main characters are out of time, both works recreate the pre-reform atmosphere of the late 1850s, but perform it in fundamentally different ways. A mythologically-generalized, elegiac image of the past serfdom of Russia is presented in “Oblmov”. In “A House of Gentlefolk” the socio-historical specificity appears in close connection with real historical events, the lyrical beginning is organically combined with the polemical acuteness of the problem. The plot and the destinies of the characters in Turgenev’s novel are determined by the ideological controversy, in which not only the main but also the secondary characters are subjectively or objectively involved, which ultimately determines the ideological character of the work.

The proposed genre differentiation of the works of the three leading writers of the era allows us to give a dynamic cross-section of the literary process of the second half of the XIX century in the defining 1859 year of this period.

Keywords: “Family happiness”, “Oblmov”, “A House of Gentlefolk”, novel, novella, genre modifications of the novel, ideological novel, plot, character system, structural analysis.

REFERENCES

1. Alekseev M.P. Primechaniya [Notes] // Turgenev I.S. Polnoe sobr. soch. i pisem v 30 t. Sochineniya v 12 t. T. 6. [Turgenev I.S. Complete collection of Op. and letters in 30 vols. Essays in 12 vols. Vol. 6] M.: Nauka, 1981. T. 6. S. 365–369. (In Russian)
2. Annenkov P.V. Vospominaniya i kriticheskie ocherki: 1849–1869. Otdel vtoroj [Memoirs and critical essays: 1849–1869. The second Department]. SPb.: Tipografiya M. Stasyulevicha [Printing House Of M. Stasyulevich], 1879. 404 s. (In Russian)
3. Belyaeva I.A. Don Kihot – Mihalevich – Levreckij: k voprosu o romannom geroe Turgeneva [Don Quixote – Mihalevich – Lavretsky: on the question of Turgenev's romantic hero] // Turgenevskie chteniya: Sbornik statej [Turgenev's readings: a Collection of articles]. M.: Russkij put'. 2006. S. 166–175. (In Russian)
4. Goncharov I.A. Polnoe sobr. soch. i pisem v 20 t. T. 4 [Complete works and letters in 20 vol. 4]. SPb: Nauka, 1998. 492 s. (In Russian)
5. Grigor'ev A.A. Iskusstvo i nrvstvennost' [Art and morality]. M. Sovremennik, 1986. 351 s.
6. Dobrolyubov N.A. Izbrannye stat'i [Selected articles]. M.: Sov. Rossiya., 1978. 388 s. (In Russian)
7. Dostoevskij F.M. Polnoe sobr. soch. v 30 t. T. 26 [Complete works and letters in 30 v. Vol. 26]. L.: Nauka, 1984. S. 136–149. (In Russian)
8. Zverev A.M., Tunimanov V.A. Lev Tolstoj [Leo Tolstoy]. M.: Molodaya gvardiya. 2007. 785 s. (In Russian)
9. Klyuchevskij V.O. Istoricheskie portrety. Deyateli istoricheskoy mysli [Historical portrait. Figures of historical thought]. M.: Pravda, 1990. 624 s. (In Russian)
10. Mendel'son N.M. «Semejnoe schastie». Istoriya pisaniya i pechataniya [«Family happiness». History of writing and printing] // Tolstoj L.N. Polnoe sobranie sochinenij. T. 5: Proizvedeniya 1856–1859 gg. [Complete works. Vol. 5. Works 1856–1859]. M., 1935. S. 304–314. (In Russian)
11. Pushkin A.S. Sobranie soch. v 10 t. T. 4. [Collected works in 10 v. Vol. 4]. M.: Hud. lit-ra, 1975. S. 7–180. (In Russian)
12. Rebel' G.M. Geroi i zhanrovye formy romanov Turgeneva i Dostoevskogo (Tipologicheskie yavleniya russkoj literatury XIX veka) [Heroes and genre forms of Turgenev and Dostoevsky's novels (Typological phenomena of Russian literature of the XIX century)]. Perm': PGPU, 2007. 398 s. (In Russian)
13. Rebel' G.M. Oblomov i drugie [Oblomov and others] // Voprosy literatury [Questions of literature]. 2012. № 6. S. 158–187. (In Russian)
14. Tamarchenko N.D. Struktura syuzheta v romanah Turgeneva [The structure of the plot in Turgenev's novels] // Turgenevskie chteniya: Sbornik statej [Turgenev's readings: a Collection of articles]. M.: Russkij put'. 2004. S. 30–38. (In Russian)
15. Teslya A.A. «Istinno russkie lyudi»: Istoriya russkogo nacionalizma [Russian people: the History of Russian nationalism]. M.: Gruppya Kompanij «Ripol Klassik» / «Pangloss», 2019. 319 s. (In Russian)
16. Tolstoj L.N. Polnoe sobranie sochinenij. Tom 5: Proizvedeniya 1856–1859 gg. [Complete works and letters. Vol. 5. Works 1856–1859]. M.: GIHL, 1935. 375 s. (In Russian)
17. Tolstoj L.N. Polnoe sobranie sochinenij. T. 48. Dnevnik i Zapisnye knizhki 1858–1880 [Complete works. Vol. 48. Diaries and Notebooks. 1858–1880]. M., 1952. 539 s. (In Russian)
18. Tolstoj L.N. Polnoe sobranie sochinenij. T. 60. Pis'ma 1856–1862. [Complete works. Letters 1856–1862]. M., 1962. 656 s. (In Russian)
19. Turgenev I.S. Poln. sobr. soch. i pisem v 28 v. Pis'ma. T. 3: 1856–1859) [Complete works and letters in 28 vols. Letters in 13 vols. V. 3: 1856–1859]. M.–L.: Izd-vo Akademii nauk, 1961. 731 s. (In Russian)
20. Turgenev I.S. Sobr. soch. v 12 t. T. 2 [Collected works in 12 vols. V. 2]. M.: Hud. lit-ra. 1976. 333 s. (In Russian)
21. Turgenev I.S. Sobr. soch. v 12 t. T. 3 [Collected works in 12 vols. V. 3]. M.: Hud. lit-ra. 1976. 389 s. (In Russian)
22. Turgenev I.S. Sobr. soch. v 12 t. T. 11 [Collected works in 12 vols. V. 11]. M.: Hud. lit-ra, 1979. (In Russian)

Received 22.06.2020

Rebel G.M., Doctor of Philology, Professor at Department of theory, history of literature and methods of teaching literature
Perm State Humanitarian-Pedagogical University
Sibirskaya st., 24, Perm, Russia, 614990
E-mail: ranilag@yandex.ru